

## ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ МНУХИН

Ассоциация детских психиатров и психологов. Москва.



Грустная магия цифр: 100 лет со дня рождения, 38 – с той поры, когда Самуил Семенович вошел в мою жизнь и определил ее на многие годы вперед, 30 – с того осеннего питерского дня, когда он ушел от нас. Странно думать, что находишься в том самом возрасте, в каком он был при первой встрече. Это был сентябрь – он поднялся на кафедру и начал первую лекцию курса психиатрии: «Задача медицины – бороться за жизнь. Задача психиатрии – бороться за человека». Лишь годы и годы спустя начинаешь осознавать – как много он тебе дал, как много ты хотел ему сказать – и не сказал, хотел спросить – и не спросил. Но ни спросить, ни сказать, ни поблагодарить уже не можешь...

Ученик В.М. Бехтерева и один из создателей детской психиатрии у нас в стране, он почти до самой смерти – 30 лет – заведовал кафедрой психиатрии Ленинградского педиатрического медицинского института. С психиатрами его поколения ушла целая эпоха – не только профессиональная, но и человеческая. Они становились психиатрами «по любви» – в одном из медицинских журналов начала 1920-х гг. я как-то наткнулся на объявление примерно такого содержания: психиатрические больницы пропадают без врачей и, если из каждого институтского выпуска хоть 2-3 человека решатся посвятить себя этому трудному делу, то психиатрия в России выживет. Не было еще ставшей сегодня привычной психофармакологии, не было льгот и надбавок к зарплате, набитые свинцовой дробью стулья в больницах было не оторвать от пола (помню их по 3-й психиатрической больнице в Ленинграде) – короче, психиатрия была профессией опасной и непопулярной. Психиатрами становились энтузиасты, которые не работали в психиатрии, а жили ею. Именно таким человеком до самых последних дней жизни был Самуил Семенович.

В блокадном Ленинграде он был консультантом военных госпиталей. Рассказывать об этом не очень любил, но даже за скупыми словами вставал силуэт голодного доктора, бредущего 3-4 часа в один конец сумасшедшими блокадными зимами... В нем очень тонко сочетались мужество и робость. Сегодня конец сороковых-начало пятидесятих прошлого тысячелетия едва ли не седая старина – вакханалия павловской сессии, дела врачей – на расстоянии десятилетий теряет детали, кажется едва ли не кукольной. Но раскапывая биографию первого ректора Педиатрического института Юлии Ароновны Менделевой, в конце 40-х оказавшейся в ГУЛАГе, я от корки до корки прочитал все выпуски институтской газеты «Советский Педиатр» и был потрясен тем, как еще читавшие нам лекции одни старые профессора могли пережить это, как им снятся ночами их публичные «покаяния», а другие – бывшие охотниками и загонщиками в этой страшной охоте – могли смотреть им, да и нам, студентам, в глаза. Не удивителен и никаким судам-пересудам не подлежит след, оставленный в душе этим опытом.

Мы никогда не говорили об этом с Самуилом Семеновичем, однако был такой след и у него. Он соблюдал все требуемые ритуалы, но сотрудников подбирал по порядочности и отсутствию в глазах хищного блеска идейного фанатизма, бараньей готовности «выполнять любые приказы родины» и малопорядочности. На рожон не лез – умел с достоинством обходить подковерные драки и политизированные игры. Недолголюбивал многолюдные собрания, мог долго и тревожно собираться на какую-нибудь конференцию в Москву, но в последний момент оставался дома. Думаю, что по

этой причине и книг не оставил, чураясь всех тех уступок совести, на которые нужно было идти ради милости единственного в стране медицинского издательства и цензуры (Гослита, как его позже называли). Но в компании людей, которым доверял, расцветал. Не хлопал снисходительно по плечу друзей, оставшихся «простыми психиатрами» – помню его нежнейшую дружбу с доктором С. Генделевичем как эталон партнерства равных. Там, где дело касалось существа профессии и профессиональных отношений, оказывался негибким, даже когда это было связано с риском: наверное, был единственным, у кого в постатейных списках литературы находили свое прочное место неврологические работы З. Фрейда; на рубеже 40-50-х изгнанный отовсюду и никем не принимаемый опальный академик Л.А. Орбели всегда был желанным гостем у него на кафедре. Во всем этом присутствовало изящное достоинство жизни в хорошо осознаваемых внешних и внутренних границах. Хотя лишь теперь понимаешь – чего это ему стоило.

Он был одним из ведущих представителей ленинградской школы психиатрии, объединявшей бехтеревскую психоневрологию с тонким и сильным клиническим психологизмом. О ее достоинствах и недостатках можно спорить, но, на мой взгляд, за треском фейерверков психофармакологических и технологических открытий, психологического тестирования и т.д. мы ухитрились сильно недооценить глубину и потенциал этой школы, как раз в рамках которой все эти открытия и обретают свой настоящий смысл. Самуил Семенович «болел» шизофренией – как-то, поднявшись на кафедру, он долго стоял молча, а потом сказал: «Я не буду читать вам лекцию о шизофрении – я прочту вам поэму о шизофрении». И два часа битком набитая аудитория сидела, не шелохнувшись. Но во многих наших с ним беседах он повторял одну и ту же мысль: мы ничего не поймем в шизофрении, перекраивая ее классификации так и эдак и выдумывая синдромы своего имени – мы можем ее понять, только узнавая, как работает человеческий мозг и как живет человек. Он умел удивительно точно и тонко интерпретировать психоневрологические находки (а их у него было множество) в терминах обыденной и социальной жизни, будучи при этом живым воплощением того, что сегодня называют гуманистической психиатрией.

Он оставил после себя более сотни статей и черновик книги об эпилепсии. Совсем не много по нынешним меркам, когда оглушительное количество публикаций и несколько книг – не столько результат профессионального созревания, сколько средство профессионального оперения и самоутверждения. Но писал он столь тщательно и к самому себе придирчиво, что удельный вес его статей подчас перевешивал тома. Не забудем и о том, что было это во всепроникающе-подцензурное время, когда слово часто стоило жизни. Чтение его очень плотно упакованных текстов требует труда со-бытия, со-мыслия, со-переживания – и тогда открываются их глубины. К тому же, он, подобно, например, Маргарет Мид, был ученым устной традиции, но все мы – его ученики – осознали это с таким запозданием, что уже не могли ничего поделать для сбора и оформления оставленного им в лекциях и на клинических разборах.

Он поднимался на кафедру в зашмыганной аудитории – и происходило чудо. В пробивавшемся через окно неярком питерском свете светились седые волосы над изрядно полысевшим черепом, создавая подобие нимбы – «Слушаю, гляжу и думаю – марсианин!», сказал как-то Вилен Гарбузов. Похоже, ему было все равно – читает он студентам или профессиональной аудитории. Он делился серьезными и глубокими размышлениями с думающими и переживающими людьми («Орел, он думает, что все – орлы» – Олжас Сулейменов). При этом мог изобразить все виды эпилептических припадков, кроме Grand Mal (я его как-то спросил об этом, а он отшутился: «Обмачиваться неловко, да и в постприпадочном оглушении лекцию не продолжишь»). «Демонстрируемые» на лекциях больные были не «учебным материалом», а живыми собеседниками, которых он по-человечески принимал, а они чувствовали это.

Он сам, не перепоручая это самому безответственному ассистенту, все годы своего заведования кафедрой вел студенческий кружок психиатрии. Здесь можно было говорить обо всем – даже о Фрейде и психоанализе (это в шестидесятые-то годы, когда имя Фрейда было чем-то средним между научным ругательством и политическим доносом). Готовя для СНО доклад о характерах, я как-то поплакался ему, что в советской литературе не могу найти ничего кроме анекдотических утверждений типа «патриотизм – черта характера советского человека». В ответ услышал: «А вы их не читайте. Они с личностью – как импотент с женщиной: и так, и сяк, а все никак». На заседаниях кружка Самуил Семенович оживлялся и молодец, закрываясь и суровая только при появлении чересчур нахрапистых юнцов и юниц. Потом, видя их уже самостоятельно работающими и – метр с кепкой – становившихся «мэтрами», я часто думал – как же он был тогда точен и прав в восприятии их.

Его клинические разборы собирали вместе врачей, виднейших психиатров, кружковцев – все имели право на свое мнение и голос, а он, оставаясь хозяином, никогда не опускался до подчеркивания своего положения хозяина. Так же было на клинических консультациях. Как-то я пришел чуть раньше начала разбора. Самуил Семенович явно чувствовал себя неважно. Сбегал я за аппаратом Рива-Роччи и едва уговорил его измерить давление: 240/180!!! Стою и не знаю: сказать – не сказать. Сказал. В ответ: «А-а-а! А я-то думаю – что ж голова так болит? Ну что – где все, скоро начнем? Давно пора!». И – детальнейший разбор трех больных. Похоже было, что работа его действительно лечит и в ней он, как рыба в воде, задыхающаяся на берегу официальных игр. Их Самуил Семенович, кстати, не любил, может быть – что неудивительно для ученого-еврея, пережившего павловскую сессию и «дело врачей» – и побаивался. Умел быть сдержанным, когда надо – непроницаемо-безупречным, держать дистанцию. Но не могу припомнить, чтобы тон его общения менялся в зависимости от места собеседника на иерархической лестнице или чтобы в его отношении к «начальству» было что-то от потирания о ногу или полизывания рук, что потом наблюдал у очень и очень многих.

В конце 60-х или начале 70-х (не помню точно) проходил в Ленинграде Северо-Западный семинар по эпилепсии. На многих лекциях слушатели откровенно спали. Но вот лекция Самуила Семеновича по детской эпилепсии – с десяти утра до почти трех часов с одним маленьким перерывом: полный зал детской психиатрической больницы на Песочной набережной слушает его, как ребенок сказку – раскрыв глаза и уши. По окончании на него наваливаются с вопросами. Он просит меня поймать такси – в три часа на другом конце города начинается его поликлиническая консультация. Едем, по дороге остановившись у магазина – он выходит и возвращается с четвертушкой черного хлеба и сыром (диабет требует регулярной подпитки). В три пятнадцать мы в поликлинике, где уже ждут родители с детьми и пришедшие поучиться у Мастера врачи и студенты. Время от времени медсестра приносит ему стакан чая и нарезанный из купленного бутерброд с сыром без масла (помню других профессоров, к приходу которых в клинику сотрудники «скидывались» им на стол отнюдь не такой библейской простоты и на конфеты в карманы накрахмаленных халатов – для детей). Заканчивается консультация около семи вечера. Провожая Учителя до дома – по дороге он продолжает обсуждение больных с той увлеченностью, которую потом редко встречал и у молодых врачей. И так – до последних дней жизни...

Профессором он был и для врачей, и для пациентов отнюдь не потому, что въезжал в общение на коне своих званий – просто в нем, если вы не были слепы или предвзяты, нельзя было не видеть Профессора. Да и не было у него никаких особых званий – просто Профессор. Но звание это носил гордо и достойно. Ему было присуще свойственное действительно интеллигентным людям отсутствие даже намека на кичливость и самолюбование. Как-то раз, посмеиваясь, он рассказал мне историю своего профессорства. Незадолго до окончания института в разговоре о том, кто кем

будет, он сказал: «Профессором психиатрии». В 30-х годах его приглашали на кафедру в Харькове – он отказался: суждено, могу стать профессором – стану и в Ленинграде, а нет – так и ездить незачем. Его 70-летию было посвящено специальное заседание общества невропатологов и психиатров в зале ленинградского ГИДУВа. Он стоял растерянный, поеживался от «громких» слов и чересчур цветистых комплиментов, постепенно скрываясь за растущей горой папок с поздравительными адресами – но и она не могла скрыть его смущения. Когда потом я процитировал ему Б. Пастернака «Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд, где Вас, как вещь, на пьедестал поставят и золото судьбы посеребрят и, может, серебрить в ответ заставят», он попросил повторить и сказал: «Как точно. Сбежал бы – да нельзя». После последнего госэкзамена встретил Учителя в институтском парке. Сидели на скамейке – он спрашивал о планах, а потом: «Скажу вам три вещи. Первое – если хотите стать хорошим психиатром, читайте побольше хорошей художественной литературы и поменьше психиатрической. Второе – не забывайте, что среди профессоров столько же дураков, сколько в общей популяции. И третье – работайте не от стола к больному, а от больного к столу».

За два года до смерти Самуил Семенович сделал мне царский подарок – интересный и бесценный не только сам по себе, но и по тому, как он его сделал. Начав работать по его предложению над предложенной им диссертационной темой «Неэпилептические психозы у эпилептиков», через полгода я показал ему собранную литературу и успевшие набраться истории болезней, с идиотической честностью сознавшись, что душа у меня к этой теме не лежит и продолжать работу я не смогу. Он даже не рассердился – он обиделся страшно и много месяцев, что называется, в упор меня не видел, вроде мы и не знакомы вовсе. Я сидел на его разборах, лишенный права голоса, и подумывал о покаянии... Вдруг при случайной встрече в институте – узнал. Его ожидало такси, и он предложил поехать с ним. Сажу сзади. Долгое молчание. Потом, не поворачивая головы: «Так говорите – не будете делать мою тему?». В голове у меня зазвучало: «Буду, буду», но язык с прежней дубовой честностью отвечивал, что не могу – душа не лежит, не чувствую этот материал. Опять долгое молчание, а после него, также не поворачиваясь: «А, черт с вами – берите аутизм». Должен сказать, что детский аутизм его интересовал особо, именно с его кафедры вышла первая в СССР статья о детском аутизме. Было у него несколько таких – его – тем, которые он никому не поручал, с которыми, видимо, жаль было расстаться, отдать в чужие руки. А потом он, наконец, повернулся ко мне и очень сжато и четко изложил свой взгляд на это расстройство, добавив в конце: «Впрочем, сами смотрите – вам же работать». Мы тогда еще пару часов пробродили по улочкам около его дома. Мне было и радостно (такая тема!), и боязно (такая тема!), и грустно – я вдруг остро почувствовал, что он готовится к уходу, подводит итоги, распределяет недоделанное...

Много лет после его смерти мы, бывшие кружковцы, собираемся в его день рождения 11 марта. Сначала нас было много, потом все меньше и меньше. Каждый раз жалею – как же мы ухитрились не записать его лекции на магнитофон, как до сих пор не собрали книгу его работ... Каждый немножко о своем жалеет. Я – о том, что не довелось мне знать Самуила Семеновича так долго и близко, как многим другим. Вспоминаем, жалею, редуем... Но и радуемся жизненной и профессиональной встрече с этим человеком – живым и по-своему противоречивым, с непотухающей искоркой в душе и глазах, знающим себе цену и любившим не себя в психиатрии, а саму психиатрию.